

К.Н. Леонтьев

Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой

Санкт-Петербург, 1888

Было время, когда я не любил военных. Я был тогда очень молод; но, к счастью, это длилось недолго! Воспитанный на либерально-эстетической литературе 40-х годов (особенно на Ж. Санд, Белинском и Тургеневе), я в первой юности моей был в одно и то же время и романтик и почти нигилист. Романтику нравилась война, нигилисту претили военные. Я сам удивляюсь, как могли совмещаться тогда в неопытной душе моей самые несовместимые вкусы и мнения! Удивляюсь себе; но зато понимаю иногда очень хорошо и нынешних запутанных и сбитых с толку молодых людей. И одних ли молодых только?.. Разве у нас мало и старых глупцов? До этих людей теперь только дошло многое из того, что нас (немногих в то время) волновало, утешало и раздражало тридцать лет тому назад... Прогресс, напр. Какой именно прогресс?.. Разве я понимал в 20-25 лет ясно – какой? Прогресс, образованность, наука, равенство, свобода! Мне казалось всё это тогда очень ясным; я даже, кажется, думал тогда, что всё это одно и то же... Даже и революция мне нравилась; но, припоминая теперь свои тогдашние чувства, я вижу, что мне в то время нравилась только романтическая, эстетическая сторона этих революций: опасности, вооружённая борьба, сражения и «баррикады» и т. п. О вреде или пользе революции, о последствиях их я думал в те молодые годы гораздо меньше. Почти совсем не думал.

Я, сам того не сознавая, любил и в гражданских смутах их военную, боевую сторону, а никак не штатскую цель их... Воинственные средства демократических движений нравились моему сильному воображению и заставляли меня довольно долго забывать о прозаических плодах этих опасных движений. Я оказывался в глубине души моей гораздо более военным по духу, чем мог того ожидать в то время, когда настоящих во-

енных не любил. Я сказал: — «довольно долго» воинственные средства революции заставляли меня забывать — их уравниательные пошлые цели. От досады на тогдашнюю путаницу моих мыслей я сказал — «долго». — Но по сравнению со многими другими людьми, пребывавшими, быть может, всю жизнь в стремлении к всеобщему мирному и деревянному преуспеванию, — я исправился скоро... Время счастливого для меня перелома этого — была смутная эпоха польского восстания, время господства ненавистного Добролюбова; пора европейских нот и блестящих ответов на них князя Горчакова. Были тут и личные, случайные, сердечные влияния, помимо гражданских и умственных. Да, я исправился скоро, хотя борьба идей в уме моём была до того сильна в 62 году, что я исхудал и почти целые петербургские зимние ночи проводил нередко без сна, положивши голову и руки на стол в изнеможении страдальческого раздумья... Я идеями не шутил и нелегко мне было «сжигать то», чему меня учили поклоняться и наши и западные писатели... Наши — путём искусного и тонкого отрицания или ложного, одностороннего освещения жизни (хотя бы и сам Гоголь — «Как всё у нас скверно!»), а западные — открыто и прямо (хотя бы Ж. Санд: — «Как прекрасен демократический прогресс»)... Но я хотел сжечь и сжёг!.. Догорела последняя тряпка гоголевских обносков, истлела последняя ветка той фальшивой, искусственной оливы мира, которую так мило и так долго подносила мне обворожительная, но хитрая Аврора Дюдеван. Я стал находить, что Гоголь какой-то гениальный урод, который сам слишком поздно понял весь вред, приносимый его могучим комическим даром... Я стал подозревать очень зло, что Дюдеванша, у которой я прежде жаждал поцеловать туфлю или подол и серьёзно мечтал — съездить за этим во Францию, в Берри и в самый Мопан!... я стал подозревать, что она бывает поочерёдно то сама собою, то нет; то искренна, то притворна... В Лукреции искренна; в Теверино и милых пасторалях своих искренна; в «Грехе г. Антуана» и в других социалистических романах своих притворна; ибо она слишком умна, чтобы не понимать, что уничтожение повсюду монархии, дворянства, мистических,

положительных религий, войн и неравенства – привело бы к такой ужасной прозе, что и вообразить страшно!..

Эстетика жизни (не искусства!.. Чёрт его возьми искусство – без жизни!), поэзия действительности невозможна без того разнообразия – положений и чувств, которое развивается благодаря неравенству и борьбе... Эстетика спасла во мне гражданственность... Раз я понял, что для боготворимой тогда мною поэзии жизни-необходимы почти все те общие формы и виды человеческого развития, к которым я в течение целых десяти лет моей первой молодости был равнодушен, а иногда и недоброжелателен, – и что надо противодействовать их утилитарному разрушению, – для меня стало понятно, на которую сторону стать: на сторону всестороннего развития или на сторону лже-полезного разрушения. Я стал любить монархию, полюбил войска и военных, стал и жалеть и ценить дворянство, стал восхищаться статьями Каткова и Муравьёвым-Виленским; я поехал и сам на Восток с величайшей радостью – защищать даже и Православие, в котором к стыду моему, сознаюсь, я тогда ни бельмеса не понимал, а только любил его воображением и сердцем. Государство, монархию, «воинов» я понял раньше и оценил скорее; Церковь, Православие, «жрецов» – так сказать – я постиг и полюбил позднее; но всё-таки постиг, и они-то, эти благодетели мои, открыли мне простую и великую вещь, – что всякий может уверовать, если будет искренне, смиренно и пламенно жаждать веры и просить у Бога о ниспослании её. И я молился и уверовал. Уверовал слабо, недостойно, но искренне.

С той поры я думаю, я верю, что благо тому государству, где преобладают эти «жрецы и воины» (епископы, духовные старцы и генералы меча), и горе тому обществу, в котором первенствует «софист и ритор» (профессор и адвокат)... Первые придают форму жизни; они способствуют её охранению; они не допускают до расторжения во все стороны общественный материал; вторые, по существу своего призвания, наклонны способствовать этой гибели, этому плачевному всерасторжению...

С той поры я готов чтить и любить так называемую «науку» только тогда, когда она свободно и охотно служит не сама себе только и не демократии, а религии, как служит самоотверженная и честная служанка царице; как служит, например, и в наше время эта благородно-порабощённая вере наука у еписк. Никанора в его книге «Позитивная философия» или у Владимира Соловьёва в его «Критике отвлечённых начал», как служила она у Хомякова, хотя бы и несколько своевольному, но всё-таки в основе глубоко-православному его чувству. Я уважаю науку тогда, когда она посредством некоторого самоотрицания, посредством частых сомнений в собственной пользе и полезной силе, prepares просвещённый ум человека к принятию положительных верований; то есть таких верований, при которых духовные, таинственные (мистические) начала не могут выразиться в одной отвлечённой и скучной какой-то морали, но ищут воплотить себя даже и в вещественных явлениях внешнего богопочитания. Пожалуй — я скажу, если хотите, в том самом «ханжестве», которого почему-то так боится г. Ф. Г-в, недавно негодовавший в «Моск. вед.» на «обскурантизм» «Гражданина».

И что такое, в самом деле, это «ханжество»? Всякий, я надеюсь, знает, что «ханжество» и «лицемерие» не одно и то же. «Ханжество», как слово порицательное, значит (в устах людей, употребляющих его) излишняя, до мелочности доведённая преданность всей совокупности церковного культа, а совсем не притворство. Поклонение иконам и мощам, частое хождение в храмы, молитвы «по правилу», а не по одному порыву; исповедь и причащение; уважение к монашеству, даже и к слабому (какое есть — что делать!) и т. д. Да ведь это и есть Православие и больше ничего; один верующий может больше проникнуться любовью к таинственным, духовным началам христианства и чувствовать потребность чаще вступать с ними в общение посредством вещественной, воплощённой, так сказать, святыни; другой — поменьше; третий — изредка; четвёртый — не только сам влечётся к этому всему, но и проповедует всё это другим; положим, хоть так, как делал покойный Асоченский. Я «До-

машней беседы» никогда не читал, но если Аскоченский предпочёл христианскую набожность общеевропейской учёности, то это делает ему великую честь, и тут нет никакого «обскурантизма» (как это старо и глупо — «обскурантизм»!), а напротив того, просветление русского ума, свергнувшего с себя вериги чужого рационализма... Не знаю наверное, кто это писал под этими буквами: Фита и Глаголь. Боюсь догадаться!.. Мне стыдно за него, если действительно это тот, на кого я думаю. О, умный и почтенный друг мой, прошу тебя, умный и добрый мой Ф..., не печатай ты впредь такого легкомысленного вздора!.. В глазах истинного христианина — обращение к Богу и Церкви, хотя бы и вследствие страдания спинного мозга, как у Аскоченского, по словам твоим, после страстно прожитой молодости — ничуть ведь обратившегося не роняет. Пути у Бога разные. Энергический натуралист Северцов стал молиться от страха в плену у коканцев; гениальный врач Пирогов — молился в горькие минуты жизни, а потом уже нашёл, что не молиться в дни спокойствия и радости — неблагодарно и низко. Тот стал молиться потому, что потерял любимую женщину, с которой был счастлив; другой оттого, напротив, что с женщиной — несчастлив; третий стал пламенно-искренно набожен, потому что у него у самого отвратительный нрав и его никто не любит, и никого у него нет на свете, кроме Бога... С Ним он беседует в храме, и один в комнате своей к Нему простирает руки и плачет и говорит: «Боже, Боже мой! — я знаю, как я несносен, как я неуживчив, как я слаб и сердит; понимаю, что люди тяготеются мною, — но Ты, Господи, — Ты пощади меня, подкрепи, и утешь, и прости мне!» А людям он и не без основания противен. Быть может, он даже и лукав по природе с людьми, но с Богом нельзя ведь лукавить верующему в Него... И тут опять случается ошибка; говорят, путая понятия и слова: «Ханжа, лицемер, набожный и лукавый». Лукавый с людьми — не значит лице мер перед Богом... Это значит только, что сила веры этого человека недостаточна для одоления силы его враждебных и приобретённых пороков... И только; а Господь на страшном и справедливом суде своём, зная его врождённые свойства,

будет, вероятно, судить его, лукавого и несносного, снисходительнее, чем многих из нас, и добрых, и любезных, и искренних с людьми... <...> Теперь, – в уединении моём, уже близясь к могиле, – успокоенный и, благодаря идеалам и утешениям этого самого «ханжества» (московской Фите неприятного), гораздо более счастливый, чем во дни моей мечтательной, тщеславной и отвратительно-страдальческой юности, я стараюсь иногда отдать себе отчёт, что портит больше и что воспитывает лучше русских юношей: семья, школа или чтение... И мне опять приходится немного разойтись с редактором «Гражданина»... Или не то, чтобы совсем разойтись, а, быть может, к тому же прийти, только более окольными путями. В области чувства и действия я понимаю и люблю пути прямые: – в области мысли я прямым путям не доверяю... «Гражданин» всё это время говорил о школах; я хочу сказать несколько слов о литературе по тому же самому поводу, по поводу влияния на молодые умы. – По-моему так: семья сильнее школы; литература гораздо сильнее и школы, и семьи.

В семье своей, как бы мы её ни любили, есть нечто будничное и фамильярное; самая хорошая семья действует больше на сердце, чем на ум; в семье мало для юноши того, что зовётся «престижем». В многолюдном учебном заведении – всегда есть много официального, неизбежно формального и тоже – будничного... И не может этого не быть... Поэзии (души-то этой) во всякой большой школе мало... Самая стеснительность неизбежной дисциплины; самая принудительность учения, столь полезная для выработки терпения, воли и порядка, всё-таки скучны; забывать этого не надо, когда судим об юности.

Только одна литература из всех этих трёх орудий влияния всемогуща; только она одарена огромным «престижем» важности, славы, свободы и удаления. Родители – свои люди в большинстве случаев весьма обыкновенные: их слабости, их дурные привычки нам известны; и самые добрые юноши чаще любят и жалеют отца и мать – чем восхищаются ими. Очень хорошие дети чаще почитают родителей сердцем, чем уважают их умом. И надо сказать правду, что в большинстве случа-

ев большего и требовать нельзя. И в заповеди ветхозаветной, переданной и христианству, сказано: «чти отца твоего и мать твою»; а не сказано: люби их во что бы то ни стало; или уважай их внутренне, насильно, даже и тогда, когда они очень порочны, глупы или злы. Религия требует от нас много трудного, но невозможного она не требует. Чтут в человеке не характер его, чтут отца. Из почтения добрый и честный сын уступает отцу даже и тогда, когда он им ничуть не убеждён; ибо уступить в моей воле, но убедиться не в моей... Школа тоже не может так всевластно подчинить ум и волю юноши, как посторонний и удалённый от него во всём величии своей славы писатель. От семьи и школы, даже и довольный ими юноша – рад всё-таки в известное время эмансипироваться; от литературы ему нечего освобождаться – он сам её ищет, сам избирает, сам с любовью подчиняется ей. Вот в чём разница! А что делала наша русская литература с того времени, как Гоголь наложил на неё свою великую, тяжёлую и отчасти всё-таки «хамоватую» лапу?.. Я оставляю теперь в стороне публицистов и учёных: я буду говорить только о романах и повестях. Что же делала со времён «Мёртвых душ» и «Ревизора» наша будто бы «изящная» словесность? – Изображала правду жизни, – скажут мне... Ах! Полно – так ли? Нет, не так! Жизнь, изображаемая в наших повестях и романах, была постоянно ниже действительности... Я обрываю тут нить тех более общих мыслей, которые бы естественно должны следовать за этим решительным моим определением... и перейду пока прямо к военным героям в русской литературе.

В действительной жизни для того, у кого извращённый в основах дух отходящего скоро в вечность XIX века не исказил изящного вкуса и не убил здравого смысла, – военный будет всегда выше штатского, конечно, при всех остальных равных условиях со стороны ума, характера, воспитания, красоты и силы телесной и т. д... Хорошо нам, штатским гражданам, писать о политике и войне, позволительно нам подчас и желать даже этой войны для пользы отчизны и даже человечества; но недаром же спокон веку ценились и чтились особенно те люди, которым выпадает на долю нести за всех нас труды, болезни и

все тяготы походов и подвергаться всем ужасам и опасностям битв...

Это до того ясно, до того старо и до того вместе с тем вечно ново (ибо вечно справедливо), что я, напоминая об этом, не хочу и обращаться на этот раз к тем, которые бы потребовали от меня более подробных доводов. Я обращаюсь лишь к тем, у которых есть хоть зародыш согласия со мной в основании и хоть тень сочувствия моей этой главной мысли: военный (при всех остальных равных условиях личных) выше штатского по роли, по назначению, по призванию. При всех остальных равных условиях – в нём и пользы и поэзии больше... Это так просто и верно, как то, что во льве и тигре больше поэзии и величия, чем в волу и обезьяне (даже и в большой, как горилла); как то, что коринфская колонна лучше всех колонн; как то, что Шекспир есть величайший драматург всех времён, или как то, что Лев Никол. Толстой в «Анне Карениной» и в «Войне и мире» выше всех романистов нашего времени и за все последние тридцать-сорок лет во всём мире. (Прошу при этом понять, что я различаю этого прежнего, настоящего Льва Толстого, творца «Войны» и «Анны» от его же теперешней тени... Тот Лев – живой и могучий; а этот, этот – что такое?.. Что он – искусный притворщик или человек искренний, но впавший в какое-то своего рода умственное детство?.. Трудно решить... Расчёт, однако, верный на рационалистическое слабоумие читателей!.. Да, если бы он не стал теперь тенью прежнего «Льва», то он-то именно, он, который так любил всё простое, он прежним сильным умом своим давно бы понял такую простую вещь: какая же это любовь – отнимать у людей шатких ту веру, которая облегчала им жестокие скорби земного бытия? Отнимать эту отраду из-за чего? Из-за пресыщенного славой и всё-таки ненасытного тщеславия своего. Что-нибудь одно из двух: если новый Толстой не понимает такой простой вещи, что колебать веру в Бога и Церковь у людей неопытных, или слабых, или поверхностно воспитанных есть не любовь, а жестокость и преступление, то как ни даровит был Толстой прежний – этот новый Толстой и в этом частном вопросе просто выжил из своего ума! Или же

если он и тут не совсем спутался в мыслях, а придумал только чем бы ещё неожиданным на склоне лет прославиться, то как это назвать – я спрашиваю? Назвать легко – но боюсь, что название будет слишком нецензурно – и умолкаю. Впрочем, спрошу себя ещё: не оттого ли он так много пишет о любви, что сам по природе вовсе не слишком добр? Случается и это. Итак, сделавши эту необходимую и мне, и читателю оговорку, я возвращаюсь к прежнему. Блестящий военный должен быть, как он прежде и бывал, по преимуществу героем романа. Во всей же нашей литературе – военный высшего круга не был истинным героем романа со времени Лермонтова и до больших сочинений Толстого. Между «Героем нашего времени» и «Войною и миром» прошло более тридцати лет. Между злым, но поэтическим скептиком Печориным и спокойным, твёрдым и в то же время страстным Вронским высится мрачный призрак Гоголя (не Гоголя «Тараса Бульбы, Рима и Вакулы», а Гоголя «Мёртвых душ» и «Ревизора»); призрак некрасивый, злобно-насмешливый, уродливый, «выхолощенный» какой-то, но страшный по своей всё принижающей силе. Из этого серого мрака едва-едва высвобождаются (и то не вдруг, а постепенно) – где Тургенев с честным Лаврецким и энтузиастом Рудиным; где Писемский с благородным масоном своим и привлекательными «людьми 40-х годов»; – где Гончаров не с Обломовым, конечно, (ибо Обломов это тот же Тентетников «Мёртвых душ» – только удачнее и симпатичнее исполненный), а скорее уже с бессильным, но тонким и умным Райским. Где – Достоевский с несколько бледным и далёким сиянием христианского креста над клоакой окровавленного гноища; а где и сам Толстой в своих первоначальных повестях, как односторонний, ещё тогда не слишком самобытный поклонник чрез меру потом прославленных «простых и скромных» русских людей.

Больше всех от гоголевского одностороннего принижения жизни освободился, я говорю всё-таки, он же – Лев Толстой – и дорос сперва до военных героев 12-го года, а потом и просто-напросто до современного нам флигель-адъютанта – Алексея Кирилловича Вронского. О Вронском-то я и хочу поговорить

подробнее и, между прочим, о том, почему нам Вронский гораздо нужнее и дороже самого Льва Толстого. Без этих Толстых (то есть без великих писателей) можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживём и полувека. Без них и писателей национальных не станет; ибо не будет и самобытной нации. Роман «Анна Каренина» имеет в себе такое множество достоинств самого высшего разбора, что о нём стоит написать целую особую книгу и даже большую, как и сделал недавно умерший молодой и даровитый критик Громека. (Последние произведения гр. Л. Н. Толстого, Москва, 1885 года). Я не могу этим заняться; и если бы мог, то, конечно, заключения мои были бы совсем иные, чем у Громеки. Во многих отношениях они были бы даже совсем противоположны. (...) У него Вронский назван «бессодержательным» человеком; а на Левина он смотрит, как на некоего благодатного старца, который может нам открыть даже и то, чего желает сам Бог! «Раскройте нам тайны открывающейся вам новой, величайшей области прекрасного! Говорите о Боге, о том, какие законы оставил Он нам, и как их нам можно исполнить»... Вот что восклицает под конец своего эпилога молодой и восторженный критик! Левину присваивается какая-то уже не только умственная или нравственная, но и мистическая сила. Его изъяснение Закона Божия — есть новый катехизис, пожалуй, даже и улучшенное очищенное Евангелие. Да, можно сказать, «не поздоровится (духовно) от таких похвал!» Легко Левину забыть, слыша подобные возгласы, и счесть себя действительно священным сосудом нового откровения! «Едва обретается человек, могий терпеть честь (то есть принимать почести, не повреждаясь от гордости), негли же (а может быть) и отнюдь не обретается!» говорит Исаак Сирийский в самом начале своего глубокомысленного творения: «Слова духовно-подвижнические». Но оставим пока Левина с его нравственными немощами (а по предлагаемому мною эпилогу — и с религиозными преступлениями) и обратимся к самому создателю его характера — графу Толстому, к великим его эстетическим достоинствам и даже к политическим (быть может, и нечаянным) заслугам его — в двух больших

его сочинениях «Войне и мире» и «Карениной». Трудно решить, который из этих романов художественно выше и который политически полезнее. И тот и другой во всём так прекрасны; и тот и другой – хотя и не во всём, но во многом так полезны, что не знаешь, которому отдать предпочтение во всецелости его. Я невольно останавливаюсь беспрестанно, и мысль моя, подавленная обилием разнообразных достоинств Толстого в этих трудах, недоумевает, с чего начинать!.. Положим – с эпохи. Великое время народной войны, эпоха, неизгладимая из памяти русской... Конечно, задача выше, содержание в этом смысле грандиознее, чем в «Карениной». Так; но зато второй роман ближе к нам, и потому его красоты могут иметь на нас, современников, более прямое влияние. Хорошо чертами в одно и то же время крайне реальными, внушающими полное доверие, и чувствами идеальными, нас возбуждающими к лучшему, увечечить в памяти потомства годину всенародного героизма; но чрезвычайно похвально и современнее нам высшее русское общество изобразить наконец-то по-человечески, то есть беспристрастно, а местами и с явной любовью..

Как не ценить этого после того, как в течение целых тридцати и более лет никто не мог, не хотел и не умел за это взяться! Так называемый «мужичок», «солдатик» раздражённый завистью студент или разночинец, угнетённый чиновник Акакий Акакиевич, или, напротив того, чиновник-грабитель Щедрина; Тит Титыч Брусков, и в самом лучшем случае – благородный, но всё-таки смешной Бородин или некрасивый Каратаев Тургенева, – вот кто был почти исключительно вправе занимать собою читателей в течение этих истекших тридцати или даже сорока лет. Что касается людей более или менее высокопоставленных или «благовоспитанных» (другого слова никак не подышу), то все подобные более изящные или более привлекательные герои у Тургенева, у Гончарова и отчасти даже и у Писемского – или нестерпимо бесхарактерны, или робки, или крайне нерешительны, или во многих случаях даже низки (Калинович), или не патриоты, или неловки и ленивы до карикатурности (Обломов), или физически слабы и не очень красивы

и т. д. Скольким читателям, я уверен, в течение стольких лет приходила на ум такая мысль. В частном случае, вот в том или этом, это, конечно, правда и прекрасно изображено. Но что же мне делать, если я в действительной жизни сам встречал нередко русских людей и более твёрдых, и более смелых, и более красивых, и блестящих, и более полезных государству и обществу, чем все эти полуотрицательные герои... В частности все эти романисты правы, во всецелом отражении русской жизни — они не правы. А прав был тот немецкий критик, который сказал про героев Тургенева, кажется, так: «не думаю, чтобы все русские мужчины были бы таковы»; — одна одиннадцатимесячная осада Севастополя доказывает противное! Было ли очень много у нас таких независимых и прозорливых читателей — не знаю; но, разумеется, были и такие... Не все очень умные люди пишут и печатают; и не все те люди, которые пишут и печатают, настолько умны, чтобы вовремя на всё это хорошо указать. Только у Толстого действительность русская во всей полноте своей возвращает свои права, утраченные со времён серых «Мёртвых душ» и серого «Ревизора». Только его реализм (в этих двух больших творениях, повторяю, а не в прежних более слабых повестях) — только реализм Толстого есть реализм широкий и правдивый. Только его творчество равняется русской жизни, а не стоит много ниже её по содержанию и освещению, как у всех других. Справедливость требует, конечно, упомянуть здесь ещё о «Четверти века...» и «Переломе» Маркевича... Но эти два, тоже правдивые, тоже изящные и тоже весьма высокие романы появились всё-таки позднее «Войны» и «Анны» Толстого, так что инициатива восстановления, так сказать, эстетических прав русского высшего общества всё-таки принадлежит не Маркевичу, а Толстому.

Искусство имеет свойство делать нам многое в жизни яснее прежнего. Мы часто сами или вовсе не замечаем чего-нибудь в действительности, или запоминаем явление только бессознательными силами души, а художник более резким каким-то выделением этого явления делает нам его иногда неожиданно совершенно ясным, и мы сами дивимся, как мы прежде этого не

замечали. Вспоминаю по этому поводу многое из моего личного опыта. В Крыму, например, служа военным врачом во время Севастопольской войны, я впервые увидел море. (В Петербурге я даже и не желал никогда его видеть, забывал о нём). «Я видел море, я измерил очами жадными его»... Я видел его тихим; видел в бурные дни, купался в нём, катался в лодке, видел во время мелкой зыби; многие отливы цветов, много красок я в нём сам сразу приметил; но никогда не замечал, что во время мелкой зыби на верху каждой маленькой, аквамариновой, зеленоватой волны образуется на мгновение голубой овальный кружок; появится, мелькнёт, исчезнет, и опять появится, и опять исчезнет... Я и не замечал этого; но с тех пор, как я увидел эти голубые кольца небесного отражения уже не мелькающими, не рябщими в глазах моих, а художественно-неподвижными на одном из морских видов Айвазовского (и даже не на подлиннике, а на копии), – я стал видеть их сам и в действительности, даже без всякого напряжения, внимания. Эти голубые кружки на зеленоватой зыби вошли уже раз навсегда после этого в неизгладимый запас моей психической жизни. То же было и с тенью на снегу в ясный зимний день. Кто-то при мне сказал: «так нельзя писать снег; это мел какой-то; у снега в солнечный день о – тень голубоватая»... И вот я забыл даже, кто и где это сказал, а голубоватую тень снега вижу с тех пор... То же бывает и с хорошими портретами; мы лучше понимаем даже своё собственное лицо, когда оно изображено неизменно и удачно, хотя бы на хорошей, искусной фотографии, не говоря уже о прекрасной акварели или талантливом полотне... То же и с характерами людскими. Давно сказано, что не всякий умеет наблюдать то, что он видит. Не только большинство, менее способное, но и все самые способные люди нуждаются в помощи чужого ума, чужого наблюдения, чужого творчества для более всестороннего и ясного понимания природы и жизни. Оригинальность, умение видеть и показывать другим нечто новое – само по себе редкость, но и для оригинального, для нового освещения жизни – о необходимы предшественники. Разница между умом оригинальным и неоригинальным та, что первый

не останавливается сразу только на том, что указали ему предшественники его в области мысли, но ищет уже прямо в жизни чего-то ещё иного, и не только ищет, но и находит его. Напротив того, человек не оригинальный, наблюдатель без творчества удовлетворяется — если не на всю жизнь, то надолго — чужим освещением явлений, чужим мировоззрением, усваяя его себе иногда до такой глубины и силы, что и жизнью за эту чужую (по происхождению) мысль иногда жертвует. Робеспьер был несравненно сильнее волей и духом, чем Ж-Ж. Руссо, ибо он жил его мыслями. В литературе это особенно заметно, и мы видим часто, что люди, весьма твёрдые характером, самобытные волей, оригинальные, пожалуй, и независимые в жизни, являются литераторами вовсе не оригинальными, слабыми, почти вполне подчинёнными своим знаменитым предшественникам и во взглядах, и в выборе сюжетов и лиц, и даже в языке и внешнем стиле. Совсем других не тронутых ещё характеров, иных, новых, вовсе не виданных у других авторов положений они в жизни или совсем не замечают (так, как я долго не замечал голубых колец на зыби); или хоть и видят их кое-как, но не смеют и не умеют их изобразить. У таких писателей достаёт независимости на то, чтобы к образам, уже всем знакомым, прибавить ещё две-три черты своих, но для того, чтобы хоть попытаться выбраться из современной им толпы и осветить жизнь хотя бы и ложным светом, но на общепринятый способ освещения непохожим, — для этого у них уже нет силы. Было время, когда о мужике, например, у нас никто не писал; писали о «военных героях»; потом явился Гоголь, — и запретил писать о героях (разве о древних, вроде Бульбы), а о мужиках позволил. И все стали писать даже не о мужиках, а о «мужичках». Гоголь разрешил также писать о жалких чиновниках, о смешных помещиках и о чиновниках вредных. Потом прибавился ещё к этому так называемый «солдатик» и, в особенности, «заскоружный» солдатик. Ещё купец-деспот — по образцу Островского — и, наконец, бесхарактерный, вечно недовольный собою, расстроенный «лишний человек» Тургенева. <...>

Комедии?.. Я в последнее время, по роду занятий своих в Москве, вынужден был прочесть много новых комедий и драм из русской жизни. И, признаюсь, несмотря на то, что у меня память хороша, я невольно только и запомнил, что два перевода, два весёлых либретто: «Весёлая война» и «Жирофле-Жирофле». По крайней мере пусто, живо, весело и, в сущности, невинно; гораздо невиннее разных известных драм русских авторов. (Я говорю известных другим, очень многим, но мною, клянусь, тотчас же забытых и уже теперь и не различимых драм). Помню, что вообще какая-то молодая, «страстная», или «чистая душою» женщина бросается в реку, отравляется, закалывается; и всё оттого, что все другие люди очень дурны, а она очень хороша, искренна (особенно – эта искренность у них в почёте! Да чёрт её побери, эту искренность, если она или вредна, или бестолкова)... Встречается также много добрых, но слабых отцов; мужей добрых, но «непрактических»... (один совсем практический, другой совсем непрактический человек – какая верная и точная классификация – подумай!). Граф или князь, щеголь и т. п., – это уж непременно подлец... Студент, учитель, какой-нибудь «честный труженик» (произносите, прошу, это великое слово позначительнее!) – это всё благородные, умные люди. Ну, что за вздор! Ведь это вовсе неправда; это вовсе не реально... Я сам (да и всякий поживший человек) знавал князей и графов, и франтов разных, и даже фатов отчасти, которые были при этом благороднейшие и очень умные люди, и сам же я встречал и смолоду, и теперь учителей и студентов таких мерзавцев и таких ничтожных, что Боже упаси; несмотря на то, что они были «труженики» и что ногти у них были черноваты или пальцы желты от папирос. Я уверен даже, что многие из авторов тех бесчисленных драм, которые мне пришлось, к несчастью (тоже по обязанности «честного труда»), просматривать за последние семь лет в Москве по литографированным тетрадкам г. Рассохина и др. театральных издателей, я уверен, говорю, авторы эти знают, что бывают студенты мерзавцы (и даже очень часто), а флигель-адъютанты, камер-юнкера – прекрасные люди, «оно так, положим, но поди опиши-ка это!» Ну,

а «лев» негодай и «труженик» благородный – это уж верный сбыт... Нужно только две-три черты своих – и довольно!..

Впрочем, что и говорить о людях бездарных, когда даже и у таких умных писателей, как Глеб Успенский, Немирович-Данченко, искусственно прославленный некогда «Современником» Помяловский и т. д., – Гоголь так и дышит из каждой строки! Всё не грубое, не толстое, не шероховатое, не суковатое им не даётся. «Буржуй», – «борода да копром», «прёт» и т. д. Сами в жизни они, вероятно, слишком опытны и умны, чтобы не видеть иногда и нечто другое, но как писатели – как же могут они высвободиться из тисков той сильной, но в своей силе неопрытной и жестокой руки Гоголя, о которой я уже говорил, когда ни Достоевский, ни Тургенев, ни Писемский, ни Гончаров не могли не подчиниться ей, один так, другой иначе? И у Льва Толстого можно найти даже в «Анне Карениной» следы этой гоголевщины; конечно, не в мировоззрении общем, не в избрании лиц и среды, – но в некоторых мелочах, в иных выражениях, в иных подробностях, нужных Гоголю для его целей, ему же, Толстому, вовсе ненужных. Я об этих весьма характерных мелочах упомяну после и укажу на них тогда .

Примечание

Печатается по: Леонтьев К.Н. Избранное. М.: Рарогъ, Московский рабочий, 1993. С. 187-199.